но, глазами с двойственным светом, то тихим и грустным, как влажный взгляд грешницы, то ярким и светлым…» [4. С. 154]; «Но пришла ее минута, минута жажды воздуха и жизни ⟨…⟩ и жажда любви пробилась на бледные ланиты ярким заревом румянца…» [Там же. С. 158].

Весь цикл рассказов А. Григорьева о Виталине может служить подтекстовой иллюстрацией к стихотворению Фета. Размышления о трагической судьбе девушки, очарованность ее внешним обликом и душевной чистотой точно передают ту атмосферу, в которой существовали Фет и Григорьев в начале 1840-х годов. В заключительной главе «Офелии» читаем: «И тихо и грустно лилась из девственных уст печальная исповедь жизни, однообразной, но трепетной, но исполненной ожиданий, исповедь души светлой и воздушной, осужденной на душную грубую темницу, исповедь молодости, жажды желаний, встречающих на каждом шагу грубые противоречия, отвратительные оскорбления…» [Там же. С. 163]. Это, безусловно, написано о дальнейшей судьбе Лизы.

В рассказе «Мое знакомство с Виталиным» – предвкушение этой судьбы: «Она грустно склонила голову. Я стоял за нею, пожирая глазами ее открытые плечи, боясь перевести дыхание.

Она казалась так грустна, так больна!

И я готов был плакать» [Там же. С. 140].

Личность и судьба Лизы принесли в стихотворение Фета тот же мотив болезненности, хрупкости героини. Бледность, сердечный трепет («Все бледней становилась она, / Сердце билось больней и больней»), безусловно, навеяны теми же наблюдениями и впечатлениями, о которых так вдохновенно пишет А. Григорьев.

Быт московских студентов в замоскворецком доме Григорьевых на Малой Полянке ничем не выделялся. Только поэтические устремления оживляли это скудное событиями существование. «Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась…» – писал Фет. Сначала Фет и Григорьев увлекались французским романтизмом, Виктором Гюго. Затем французский романтизм уступил место романтизму английскому и немецкому – совершенно иным по тональности и звучанию. Фет сообщает: «Но, поддавшись байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гёте» [3. С. 317]. Я.П. Полонский свидетельствует: «Помню, что в то время Фет читал Гейне и Гёте, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему… Я уже чуял в нем истинного поэта…» [1. С. 362].

О влиянии Гейне на поэтику и образную систему раннего Фета следует сказать отдельно. Он сам признавал: «Но никто, в свою очередь, не овладевал мною так сильно, как Гейне своею манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вы-